

только что изобразили. Живя в этом страдательном состоянии, она в то же время никогда бы не допустила ни тени оправдания, ибо в этом случае все обрушилось бы, полетело в пропасть. Во имя своего спасения она потребовала бы, чтобы четкий приговор – вина – не был подвергнут пересмотру. Она жива именно и только благодаря тому, что для нее он окончателен. Стоило бы только содеянному и выстраданному воплотиться в сострадательно-оправдательную теорию, как различение добра и зла утратило бы четкость, а это послужило бы питательной почвой для демонических извращений истины – тех самых, жертвой которых становится Родион Раскольников и из которых Иван Карамазов выводит свою философию бунта.

СОФЬЯ СЕМЕНОВНА

Тот же груз непостижимости несет на своих плечах и другая Соня – из «Преступления и наказания».

Она – дочь бывшего чиновника, титулярного советника Семена Мармеладова, от первого брака. Отец ее вновь женился – «из жалости» – на нуждающейся вдове Катерине Ивановне. И от этого брака есть дети. Муж начал пить, совершенно опустился, и роман начинается с того, что беспокойно блуждающий по городу Раскольников попадает в распивочную, встречается там Мармеладова и узнает от него историю его бедствий: как на долю семьи выпала не только бедность, но и полнейшая нищета; как однажды измученная чахоткой Катерина Ивановна стала осыпать падчерицу упреками, почему та не помогает семье, почему не делает того, что делают многие другие, – и как та молча пошла на улицу и продала себя. После того как злые соседки доносят на нее, Соня вынуждена получить желтый билет продажной женщины, и теперь ценой бесчестия она содержит всю семью.

Совершив преступление, Раскольников случайно знакомится с этой семьей. Он чувствует, что положение Сони аналогично его ситуации: оба они исторгнуты из круга уважаемых людей. Он, вынужденный со всеми молчать, здесь может говорить. Он раскрывается перед ней, и в конце концов, после ожесточеннейшего внутреннего сопротивления, он уступает ее настоянию и отдает себя в руки правосудия. Его приговаривают к каторжным работам; она следует за ним в Сибирь, и ее любовь помогает ему там начать новую жизнь.

Соня – самый проникновенный женский образ из всех, созданных Достоевским. Можно сказать, что в ней воплотилось для него понятие «чада Божия», та тайна Царства Божиего, благодаря которой оно приходит к малым и неразумным, а не к великим и мудрым; мытари и грешницы приемлют его, в то время как благополучные и почитаемые не подпускают его к себе. Вот и Соня – чадо Божие в том особом смысле, что на ней лежит печать непостижимости Божественного Промысла. Здесь, в этом мире, она беззащитна – и в то же время находится под опекой Отца Небесного.

Мы видим ее, когда она приходит звать Раскольникова на отпевание своего умершего отца и поминки:

«В эту минуту дверь тихо отворилась, и в комнату, робко озираясь, вошла одна девушка. Все обратились к ней с удивлением и любопытством. Раскольников не узнал ее с первого взгляда. Это была Софья Семеновна Мармеладова... скромно и даже бедно одетая девушка, очень еще молоденькая, почти похожая на девочку, с скромною и приличною манерой, с ясным, но как будто несколько запуганным лицом. На ней было очень простенькое домашнее платьице, на голове старая, прежнего фасона шляпка... Увидев неожиданно полную комнату людей, она не то что сконфузилась, но совсем потерялась, оробела, как маленький ребенок, и даже сделала было движение уйти назад».

И далее:

«Между разговором Раскольников пристально ее разглядывал. Это было худенькое, совсем худенькое и бледное личико, довольно неправильное, какое-то востренькое, с востреньким маленьким носом и подбородком. Ее даже нельзя было назвать и хорошенькою, но зато голубые глаза ее были такие ясные, и когда оживлялись они, выражение лица ее становилось такое доброе и простодушное, что невольно привлекало к ней. В лице ее, да и во всей ее фигуре, была сверх того одна особенная характерная черта: несмотря на свои восемнадцать лет, она казалась почти еще девочкой, гораздо моложе своих лет, совсем почти ребенком, и это иногда даже смешно проявлялось в некоторых ее движениях» (П. и н., с. 181, 183).

Особенно же хватает за сердце проявление в ней детскости в тот момент, когда Раскольников, уже любимый всею ее душою, заставляет ее угадать, кто совершил преступление: «...он смотрел на нее и вдруг в ее лице как бы увидел лицо Лизаветы (сестры старой процентщицы, тоже им убитой. – Р.Г.). Он ярко запомнил выражение лица Лизаветы, когда он приближался к ней тогда с то-

пором, а она отходила от него к стене, выставив вперед руку, с совершенно детским испугом в лице, точь-в-точь как маленькие дети, когда они вдруг начинают чего-нибудь пугаться, смотрят неподвижно и беспокойно на пугающий их предмет, отстраняются назад и, протягивая вперед ручонку, готовятся заплакать. Почти то же самое случилось теперь и с Соней: так же бессильно, с тем же испугом, смотрела она на него несколько времени и вдруг, выставив вперед левую руку, слегка, чуть-чуть, уперлась ему пальцами в грудь и медленно стала подниматься с кровати, все более и более от него отстраняясь, и все неподвижнее становился ее взгляд на него. Ужас ее вдруг сообщился и ему: точно такой же испуг показался и в его лице, точно так же и он стал смотреть на нее, и почти даже с тою же *детскою* улыбкой» (П. и н., с. 315).

В полубреду вспоминая как-то раз о Соне и рисуя себе ее облик с той вещей ясностью, на какую способно лишь непосредственное чувство, Раскольников мысленно объединяет ее с той самой Лизаветой, с которой Соню связывала странная дружба: «Лизавета! Соня! Бедные, кроткие... Милые!.. Они все отдают... глядят кротко и тихо... Соня, Соня! Тихая Соня!..» (П. и н., с. 286). Быть может, именно здесь и скрыта разгадка этого простого и все же загадочного существования – в беззащитности.

Она «не защищается». Она приемлет. «Ни о чем не просить, ни в чем не отказывать», – так была определена однажды высшая мера святости сердца. Нечто подобное присутствует и здесь – при всей парадоксальности этой отчаянной ситуации. Соня принимает ужасную, незаслуженную нищету, в которую ввергает семью алкоголизм отца. Она не оказывает никакого сопротивления, будь то внутренний бунт или хотя бы свое суждение. Она не видит ничего особенного в том, что ее мачеха упреками вымещает на ней свое отчаяние. А когда Раскольников осуждает Катерину Ивановну за это, она встает на ее сторону: «Била! Да что вы это! Господи, била! А хоть бы и била, так что ж! Ну так что ж? Вы ничего, ничего не знаете...» (П. и н., с. 343).

Но эта беззащитность не означает слабости. В других случаях это хрупкое существо проявляет несгибаемую силу. Несмотря на всю свою любовь к Раскольникову, она без колебаний повинуется голосу совести и противостоит Раскольникову при его попытках оправдать себя философией сверхчеловека. Она требует от него внутренней правды и готовности искупить свою вину. Но потом она следует за ним в Сибирь и делит с ним все лишения. И там, где

она живет в естественной для нее атмосфере жертвы, она с той же естественной энергией берет на себя заботу о каторжниках, так что вскоре «матушка Софья Семеновна» становится известной и уважаемой личностью... Характерны для этой самоотверженности и письма Сони родственникам Раскольникова, содержащие сведения о его жизни в ссылке: «Корреспонденция с Петербургом... установилась еще с самого начала водворения его в Сибири. Устроилась она через Соню, которая аккуратно каждый месяц писала в Петербург на имя Разумихина и аккуратно каждый месяц получала из Петербурга ответ. Письма Сони казались сперва Дуне и Разумихину (сестре Раскольникова и ее мужу. – *Р.Г.*) как-то сухими и неудовлетворительными; но под конец оба они нашли, что и писать лучше невозможно, потому что и из этих писем в результате получалось все-таки самое полное и точное представление о судьбе их несчастного брата. Письма Сони были наполняемы самою обыденною действительностью, самым простым и ясным описанием всей обстановки каторжной жизни Раскольникова. Тут не было ни изложения собственных надежд ее, ни загадок о будущем, ни описания собственных чувств. Вместо попыток разъяснения его душевного настроения и вообще всей внутренней его жизни, стояли одни факты, то есть собственные слова его, подробные известия о состоянии его здоровья, чего он пожелал тогда-то при свидании, о чем попросил ее, что поручил ей, и прочее. Все эти известия сообщались с чрезвычайною подробностью. Образ несчастного брата под конец выступил сам собою, нарисовался точно и ясно; тут не могло быть и ошибок, потому что все были верные факты» (П. и н., с. 415). Это – четко очерченный, исполненный силы реализм – и мы оказываемся перед тем парадоксальным фактом, что в конечном итоге сама эта беззащитность проистекает из силы. Такую позицию может занимать лишь тот, чьи корни уходят в глубинные пласты, надежно защищенные от разрушения. Быть может, мы сталкиваемся здесь с одной из форм претворения в жизнь призыва ап. Павла – не противостоять злу, а преодолевать его добром. Невольно вспоминается и слово Господа: если бьют тебя по одной щеке – подставь другую.

Во всем этом ощущается сила бессознательной свободы, та внутренняя собранность, что сохраняется в сердцевине существа, о ней и не подозревающего.

После рассказа Сони о страшной нужде, в которой живет ее семья, мы читаем:

«Соня проговорила это точно в отчаянии, волнуясь и страдающая и ломая руки. Бледные щеки ее опять вспыхнули, в глазах выразилась мука. Видно было, что в ней ужасно много затронули, что ей ужасно хотелось что-то выразить, сказать, заступиться. Какое-то ненасытимое сострадание, если можно так выразиться, изобразилось вдруг во всех чертах лица ее» (П. и н., с. 243).

«Ненасытимое сострадание» – то самоотречение, которое полностью обезоруживает ее, благодаря которому она приемлет каждую судьбу без суждения о ней, без осуждения ее – приемлет полностью и искренне. Это самоотречение порождает в ней и ту гениальность сердца, при которой чужая судьба соперничает как собственная – без какой-либо примеси собственных интересов, самоутверждения или ранимости. Соне присущ дар чистого, бескорыстного соучастия.

Соучастие это выхватывает из тьмы образ другого человека, контуры его судьбы. Здесь он может позволить себе быть самим собой. Вот как Соня защищает, например, свою отчаявшуюся мамеху: «Это такая несчастная, ах, какая несчастная! И больная... Она справедливости ищет... Она чистая. Она так верит, что во всем справедливость должна быть, и требует... И хоть мучайте ее, а она несправедливого не сделает. Она сама не замечает, как это все нелезья, чтобы справедливо было в людях, и раздражается... Как ребенок, как ребенок! Она справедливая, справедливая!» (П. и н., с. 243). Позволим себе напомнить, что это говорит женщина о другой женщине, ввергнувшей ее в бесчестие.

Это вещее сострадание обретает черты подлинного величия в тот момент, когда Раскольников признается ей в содеянном. «Как бы себя не помня, она вскочила и, ломая руки, дошла до середины комнаты; но быстро воротилась и села опять подле него, почти прикасаясь к нему плечом к плечу. Вдруг, точно пронзенная, она вздрогнула, вскрикнула и бросилась, сама не зная для чего, перед ним на колени.

– Что вы, что вы это над собой сделали! – отчаянно проговорила она и, вскочив с колен, бросилась ему на шею, обняла его и крепко-крепко сжала его руками.

Раскольников отшатнулся и с грустной улыбкой посмотрел на нее:

– Странная какая ты, Соня, – обнимаешь и целуешь, когда я тебе сказал *про это*. Себя ты не помнишь.

– Нет, нет тебя несчастнее никого теперь в целом свете! – воскликнула она, как в исступлении, не слыхав его замечания, и вдруг заплакала навзрыд, как в истерике.

Давно уже незнакомое ему чувство волной хлынуло в его душу и разом размягчило ее. Он не сопротивлялся ему: две слезы выкатились из его глаз и повисли на ресницах» (П. и н., с. 316).

Соня вполне могла бы чувствовать себя обманутой в своих надеждах: она привязалась к человеку, не будучи предупреждена им о том, с какой судьбой свяжет ее эта любовь. К тому же Раскольников разговаривает с ней в такой манере, которая едва ли может быть порождена любовью; скорее создается впечатление, что он вымещает на ней свой внутренний разлад, мучая ее. Было бы понятно, если б она была возмущена или испугалась.

Однако Соня воспринимает это все совсем иначе. Озарена неподдельным светом, в ее сознании встает его судьба, только и именно она, – судьба его души, причем с такой отчетливостью, что, когда он начинает затем философствовать, пытаясь вывести из своего преступления целую теорию, она ни на миг не поддается его доводам:

«– О, молчите, молчите! – воскликнула Соня, всплеснув руками. – От Бога вы отошли, и вас Бог поразил, дьяволу предал!..

– Кстати, Соня, это когда я в темноте-то лежал и мне все представлялось, это ведь дьявол смущал меня? а?

– Молчите! Не смейтесь, богохульник, ничего, ничего-то вы не понимаете! Господи! Ничего-то, ничего-то он не поймет!» (П. и н., с. 321).

Не свободная от вины и ее жизнь. Эту вину она взяла на себя ради других. Конечно, она не смела этого делать, но думала, что должна. Таким образом она сохранила чистоту, и чистота эта определяется тем, что она живет такой жизнью против собственной воли, испытывая при этом страдания.

«Еще бы не ужас, – говорит ей Раскольников, – что ты живешь в этой грязи, которую так ненавидишь, и в то же время знаешь сама (только стоит глаза раскрыть), что никому ты этим не помогаешь и никого ни от чего не спасаешь! Да скажи же мне наконец, – проговорил он, почти в исступлении, – как этакий позор и такая низость в тебе рядом с другими противоположными и святыми чувствами совмещаются? Ведь справедливее, тысячу раз справедливее и разумнее было бы прямо головой в воду и разом покончить!

– А с ними-то что будет? – слабо спросила Соня, страдальчески взглянув на него, но вместе с тем как бы вовсе и не удивившись его предложению. Раскольников странно посмотрел на нее.

Он все прочел в одном ее взгляде. Стало быть, действительно у ней самой была уже эта мысль. Может быть, много раз и серьезно обдумывала она в отчаянии, как бы разом покончить, и до того серьезно, что теперь почти и не удивилась предложению его. Даже жестокости слов его не заметила (смысла укоров его и особенного взгляда его на ее позор она, конечно, тоже на заметила, и это было видно для него). Но он понял вполне, до какой чудовищной боли истерзала ее, и уже давно, мысль о бесчестном и позорном ее положении. Что же, что же бы могло, думал он, до сих пор останавливать решимость ее покончить разом? И тут только понял он вполне, что значили для нее эти бедные, маленькие дети-сироты и эта жалкая, полусумасшедшая Катерина Ивановна, с своею чахоткой и со стуканьем об стену головою.

Но тем не менее ему опять-таки было ясно, что Соня с своим характером и с тем все-таки развитием, которое она получила, ни в каком случае не могла так оставаться. Все-таки для него составляло вопрос: почему она так слишком уже долго могла оставаться в таком положении и не сошла с ума, если уж не в силах была броситься в воду? Конечно, он понимал, что положение Сони есть явление случайное в обществе, хотя, к несчастью, далеко не одиночное и не исключительное. Но эта-то самая случайность, эта некоторая развитость и вся предыдущая жизнь ее могли бы, кажется, сразу убить ее при первом шаге на отвратительной дороге этой. Что же поддерживало ее? Не разврат же? Весь этот позор, очевидно, коснулся ее только механически; настоящий разврат еще не проник ни одною каплей в ее сердце: он это видел; она стояла перед ним наяву...» (П. и н., с. 247).

Предварительный ответ на свой вопрос он уже дал сам. Но затем он догадывается:

«Прошло минут пять. Он все ходил взад и вперед, молча и не взглядывая на нее. Наконец, подошел к ней; глаза его сверкали. Он взял ее обеими руками за плечи и прямо посмотрел в ее плачущее лицо. Взгляд его был сухой, воспаленный, острый, губы его сильно вздрагивали... Вдруг он весь быстро наклонился и, припав к полу, поцеловал ее ногу. Соня в ужасе от него отшатнулась, как от сумасшедшего. И действительно, он смотрел, как совсем сумасшедший.

– Что вы, что вы это? Передо мной! – пробормотала она, побледнев, и больно-больно сжало вдруг ей сердце.

Он тотчас же встал.

– Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился, – как-то дико произнес он и отошел к окну. – Слушай, – прибавил он, воротившись к ней через минуту, – я давеча сказал одному обидчику, что он не стоит одного твоего мизинца... и что я моей сестре сделал сегодня честь, посадив ее рядом с тобою.

– Ах, что вы это им сказали! И при ней? – испуганно вскрикнула Соня, – сидеть со мной! Честь! Да ведь я... бесчестная, я великая, великая грешница! Ах, что вы это сказали!

– Не за бесчестие и грех я сказал это про тебя, а за великое страдание твое. А что ты великая грешница, то это так, – прибавил он почти восторженно, – а пуще всего, тем ты грешница, что понапрасну умертвила и предала себя» (П. и н., с. 246–247).

Тут-то и коренится суть всего... Ниже это подчеркивается еще раз: «Представьте себе, Соня, что вы знали бы... что... погибла бы совсем Катерина Ивановна, да и дети; вы тоже, *в придачу* (так как вы себя ни за что считаете, так *в придачу*)» (П. и н., с. 315). И действительно, она всегда готова к самопожертвованию, к той чистой самоотдаче, которая не исчисляет доли собственного участия, а просто отдает себя целиком, даже если это представляется бессмысленным и бесполезным. Здесь запечатлена позиция полного самоотречения, и именно поэтому Соня в некоем конечном смысле находится под Божией защитой.

В знаменитом диалоге, содержащем столь дорогие Достоевскому идеи, Раскольников в своей недоброй манере доводит до сознания Сони весь ужас ее положения. Далее в романе говорится:

«– Так ты очень молишься Богу-то, Соня? – спросил он ее.

Соня молчала, он стоял подле нее и ждал ответа.

– Что ж бы я без Бога-то была? – быстро, энергически прошептала она, мельком вскинув на него вдруг засверкавшими глазами, и крепко стиснула рукой его руку.

“Ну так и есть!” – подумал он.

– А тебе Бог что за это делает? – спросил он, выпытывая дальше.

Соня долго молчала, как бы не могла отвечать. Слабенькая грудь ее вся колыхалась от волнения.

– Молчите! Не спрашивайте! Вы не стоите!.. – вскрикнула она вдруг, строго и гневно смотря на него.

“Так и есть! так и есть!” – повторял он настойчиво про себя.

– Все делает! – быстро прошептала она, опять потупившись.

“Вот и исход! Вот и объяснение исхода!” – решил он про себя, с жадным любопытством рассматривая ее.

С новым, странным, почти болезненным чувством всматривался он в это бледное, худое и неправильное угловатое личико, в эти кроткие голубые глаза, могущие сверкать таким огнем, таким суровым энергическим чувством, в это маленькое тело, еще дрожавшее от негодования и гнева, и все это казалось ему более и более странным, почти невозможным» (П. и н., с. 248).

Эта молодая девушка живет, несмотря на всю окружающую ее грязь, жизнью истинной христианки. Что означает иначе эта странная фраза: «Что ж бы я без Бога-то была?» и еще более странное «все делает»? Что вкладывается в это «все»? И что «есть она через Бога»?

Думаю, что на этот вопрос можно ответить только так: Соня ощущает Его живое присутствие. Жизнь ее ужасна; все в этой жизни страшно и непостижимо. «И зачем, зачем я тебя прежде не знала! Зачем ты прежде не приходил?» – кричит она Раскольникову после того, как узнает страшную правду. Это «зачем?» можно поставить эпиграфом ко всей ее жизни. Она чувствует это – и все же знает, что Бог «все делает» для нее. Мерки разума и справедливости здесь неприменимы. Это человеческое дитя ощущает живое присутствие Бога. Он есть Он, и это и есть то самое «все». Божий лик обращен к ней – и мы благоговейно ощущаем, что это значит, когда человек может сказать о себе: всем я обязан Богу. Эти слова – свидетельство чисто религиозного существования. Проникновенность, с которой дитя Божье чувствует себя таковым, посреди безысходности потеряннного существования – это и есть в конце концов доказательство, что «Богу возможно то, что невозможно людям».

Потому-то и прав Раскольников, утверждая, что Соня верит в ежечасную возможность чуда, исходящего от Бога. Она действительно верит в это, причем без всяких фантазий. Просто она живет там, где живут те, кого Христос назвал блаженными.

Затем следует незабываемая сцена чтения Нового Завета.

«На комодке лежала какая-то книга. Он каждый раз, проходя взад и вперед, замечал ее; теперь же взял и посмотрел. Это был Новый Завет в русском переводе. Книга была старая, подержанная, в кожаном переплете.

– Это откуда? – крикнул он ей через комнату. Она стояла все на том же месте, в трех шагах от стола.

– Мне принесли, – ответила она, будто нехотя и не взглядывая на него.

– Кто принес?

– Лизавета принесла, я просила.

“Лизавета! странно!” – подумал он. Все у Сони становилось для него как-то страннее и чудеснее, с каждой минутой. Он перенес книгу к свече и стал перелистывать» (П. и н., с. 248–249).

Раскольников просит Соңю прочитать ему про бедного Лазаря – того, на котором Христос показал свою власть над смертью, воскресив уже разлагавшегося мертвеца, потому что он – «воскресение и жизнь». Соңя должна прочесть ему это, но она сопротивляется.

«– Читай! Я так хочу! – настаивал он, – читала же Лизавете!

Соңя развернула книгу и отыскала место. Руки ее дрожали, голосу не хватало. Два раза начинала она, и все не выговаривалось первого слога.

“Был же болен некто Лазарь, из Вифании...” – произнесла она, наконец, с усилием, но вдруг, с третьего слова, голос зазвенел и порвался, как слишком натянутая струна. Дух пересекло, и в груди стеснилось.

Раскольников понимал отчасти, почему Соңя не решалась ему читать, и чем более понимал это, тем как бы грубее и раздражительнее настаивал на чтении. Он слишком хорошо понимал, как тяжело было ей теперь выдавать и раскрывать все *свое*. Он понял, что чувства эти действительно как бы составляли настоящую и уже давнишнюю, может быть, *тайну* ее, может быть еще с самого отрочества, еще в семье, подле несчастного отца и сумасшедшей от горя мачехи, среди голодных детей, безобразных криков и попреков. Но в то же время он узнал теперь, и узнал наверное, что хоть и тосковала она и боялась чего-то ужасно, принимаясь теперь читать, но что вместе с тем ей мучительно самой хотелось прочесть, несмотря на всю тоску и на все опасения, и именно ему, чтоб он слышал, и непременно *теперь* – “что бы там ни вышло потом!”... Он прочел это в ее глазах, понял из ее восторженного волнения... Она пересилила себя, подавила горловую спазму, пресекающую в начале стиха ей голос, и продолжала чтение одиннадцатой главы Евангелия Иоаннова. Так дочла она до 19-го стиха:

“И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услыша, что идет Иисус, пошла навстречу ему; Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог”.

Тут она остановилась опять, стыдливо предчувствуя, что дрогнет и порвется опять ее голос...

Иисус говорит ей: воскреснет брат твой, Марфа сказала ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день, Иисус сказал ей: *Я есмь воскресение и жизнь*; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит Ему:

(и, как бы с болью переводя дух, Соня раздельно и с силою прочла, точно сама во всеуслышание исповедовала:)

Так, Господи! Я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир.

Она было остановилась, быстро подняла было на него глаза, но поскорей пересилила себя и стала читать далее, Раскольников сидел и слушал неподвижно, не оборачиваясь, облокотясь на стол и смотря в сторону. Дочли до 32-го стиха.

“Мария же, пришедши туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его; и сказала ему: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и возмущился. И сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! поди и посмотри. Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: смотри, как Он любил его. А некоторые из них сказали: не мог ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, чтоб и этот не умер?”

Раскольников обернулся к ней и с волнением смотрел на нее: да, так и есть! Она уже вся дрожала в действительной, настоящей лихорадке. Он ожидал этого. Она приближалась к слову о величайшем и неслыханном чуде, и чувство великого торжества охватило ее. Голос ее стал звонок, как металл; торжество и радость звучали в нем и крепили его. Строчки мешались перед ней, потому что в глазах темнело, но она знала наизусть, что читала. При последнем стихе: “не мог ли Сей, отверзший очи слепому...” – она, понизив голос, горячо и страстно передала сомнение, укор и хулу неверующих, слепых иудеев, которые сейчас, через минуту, как громом пораженные, падут, зарыдают и уверуют... “И он, он – тоже ослепленный и неверующий, – он тоже сейчас услышит, он тоже уверует,

да, да! сейчас же, теперь же”, – мечталось ей, и она дрожала от радостного ожидания.

“Иисус же, опять скорбя внутренно, проходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: Отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит Ему: Господи! уже смердит: ибо *четыре* дни, как он во гробе”.

Она энергично ударила на слово: *четыре*.

“Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что если будешь верить, увидишь славу Божию? Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. Сказав сие, воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. И *вышел умерший* (громко и восторженно прочла она, дрожа и холодея, как бы воочию сама видела), обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами; и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его; пусть идет.

Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видящих, что сотворил Иисус, уверовали в Него”.

Далее она не читала и не могла читать, закрыла книгу и быстро встала со стула.

– Все об воскресении Лазаря, – отрывисто и сурово прошептала она и стала неподвижно, отвернувшись в сторону, не смея и как бы стыдясь поднять на него глаза. Лихорадочная дрожь ее еще продолжалась. Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги» (П. и н., с. 250–252).

Здесь действительно раскрывается тайна Сони. Ее место – там, где находятся, по слову Христа, малые мира сего, бесправные и отверженные, мытари и грешники. Ее тайна соединяет ее со Христом. Она солидарна с Ним.

Отсюда ее величие. Этим она жива. Эти корни питают ту ясность взгляда, благодаря которой она ни на миг не поддается софистике Раскольникова, хоть и любит его.

Но то, что было сказано выше о другой Соне, о Софье Андреевне, относится и к ней. Она не оправдывает своей жизни, а просто живет ею – живет, страдая. Она не выводит из нее никаких теорий, хотя бы ради попытки осмыслить все это. Она принимает на себя всю тяжесть этого непостижимо искаженного существования, твердо зная то, что она сама должна. Но если бы она попыталась

оправдать его, оно стало бы насквозь фальшивым, обманчивым, демоническим, и она утонула бы в этой стихии.

Когда Раскольников как-то раз хочет вовлечь ее в свои «сверхчеловеческие» рассуждения о том, кто имеет право на жизнь, а кто нет, она это страстно отвергает: «Да ведь я Божьего Промысла знать не могу... И к чему вы спрашиваете, чего нельзя спрашивать? К чему такие пустые вопросы?» (П. и н., с. 313). Это говорится в определенном контексте, но раскрывает и нечто принципиальное – ее благоговение перед непостижимостью высшего.

Пункт, где она стоит, нельзя постичь ни рациональными, ни этическими рассуждениями. И если кажется, что ты его постиг, то не худо было бы усомниться в этом, ибо не исключено, что неприкосновенная граница между добром и злом оказалась здесь каким-то образом размытой.

Не сумела бы постичь собственной сути и сама Соня. Ее христианское самопонимание сводится к тому, что она, никак себя не оправдывая – уже одно желание «понять» означало бы попытку оправдать – и будучи убеждена в своей вине, продолжает жить, ожидая указания пути, готовая к покаянию и исполненная такого доверия, которое она едва ли когда-нибудь выразила бы словами.